

Элегантность ёжика

Автор:

Мюриель Барбери

Элегантность ёжика

Мюриель Барбери

Азбука-классика

«Элегантность ежика», второй роман французской писательницы Мюриель Барбери (р. 1969), прославил ее имя не только во Франции, но и во многих других странах. Мюриель страстно влюблена в творчество Л. Н. Толстого и культуру Японии, и обе эти страсти она выразила в этой книге.

Девочка-подросток, умная и образованная не по годам, пожилая консьержка, изучающая философские труды и слушающая Моцарта, богатый японец, поселившийся на склоне лет в роскошной парижской квартире... О том, что связывает этих людей, как меняется их жизнь после того, как они случайно находят друг друга, читатель узнает, открыв этот прекрасный, тонкий, увлекательный роман.

Мюриель Барбери

Элегантность ёжика

Muriel Barbery

L'elegance du herisson

© Editions Gallimard, Paris, 2006

© Н. Мавлевич, перевод, 2009

© М. Кожевникова, перевод, 2009

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство АЗБУКА®

* * *

Стефану,

вместе с которым я писала эту книгу

Маркс

(Вступление)

1. Посеешь желание

– Маркс совершенно изменил мое видение мира, – сказал мне сегодня утром молодой Пальер, никогда прежде со мной не заговаривавший.

Антуан Пальер – богатый наследник династии промышленников, сын одного из восьми моих работодателей. Молодой человек, один из последних отпрысков крупной деловой буржуазии, которая в наши дни размножается исключительно

путем непорочной отрывки, просто хотел блеснуть новыми познаниями, у него и в мыслях не было, что я что-нибудь соображаю в таких вещах. Разве трудящиеся массы способны разобраться в Марксе! В этом сложном тексте, научном слоге, утонченном языке, запутанных умозрениях.

И тут я чуть было глупейшим образом себя не выдала.

– Вы бы почитали «Немецкую идеологию», – ляпнула я этому балбесу в модной курточке бутылочного цвета.

Чтобы понять, что такое Маркс и в чем он ошибался, надо прочесть «Немецкую идеологию». Это антропологическая база, из которой выросли все его рассказы о новом мире и на которой зиждется главнейшее его убеждение: следует не гоняться за химерой желаний, а ограничиться потребностями. Только в мире, где будет обуздан гибрис[1 - Похоть, гордыня, излишество (греч.)] желания, станет возможным новое общественное устройство, без войн, угнетения и тлетворного неравенства.

Еще немного – и я, забыв, что, кроме моего кота, меня слышит кто-то еще, пробормотала бы:

– Посеешь желание – пожнешь угнетение.

К счастью, Антуан Пальер, которого пренебрежение к людям и легкий намек на усы еще не приближают к кошачьему роду, смотрит на меня так, будто ослышался. Меня, как обычно, спасает человеческая неспособность поверить во что-то, что не укладывается в уютные привычные представления. Консьержки «Немецкую идеологию» не читают, и им, слава богу, неведом одиннадцатый тезис о Фейербахе[2 - Имеется в виду одиннадцатый тезис из работы Маркса «Тезисы о Фейербахе»: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»]. Если же вдруг найдется среди них такая, которая читает Маркса, значит, она ступила на путь порока и продала душу дьяволу, имя которому – профсоюз. А что консьержка может читать подобную литературу просто-напросто для общего образования – так это полная нелепость, которая ни одному нормальному буржуа и в голову не придет.

– Кланяйтесь мамаше, – буркнула я и закрыла свою дверь у него перед носом, надеясь на то, что вековые предрассудки окажутся сильнее, чем диссонанс двух

фраз.

2. Шедевры мирового искусства

Меня зовут Рене. Мне пятьдесят четыре года. И вот уже двадцать лет я работаю консьержкой в доме номер семь по улице Гренель, красивом особняке с внутренним двором и садом. Тут восемь огромных роскошных квартир, и ни одна не пустует. Я вдова, некрасивая, толстая, маленького роста, на ногах у меня торчат косточки, а изо рта разит по утрам, как из помойки. Я это чувствую, когда уж очень сама себе бываю противна. Я нигде не училась и всегда оставалась бедной, скромной и незаметной. Живу одна, с котом, здоровенным и ленивым, в котором нет ничего примечательного, разве что манера всюду следить вонючими лапами, когда он чем-то недоволен. Ни он, ни я – и тут мы заодно – ничуть не стремимся влиться в ряды себе подобных. Поскольку я не очень-то приветлива, хотя всегда учтива, меня не слишком любят, но относятся ко мне вполне терпимо, ведь я идеально соответствую укоренившемуся в общественном сознании стандартному образу домашней консьержки, тем самым выполняя свою роль колесика в огромном механизме мировой иллюзии: согласно ей, жизнь будто бы имеет некий смысл, который ничего не стоит разгадать. На тех же небесных скрижалях человеческой глупости, где значится, что все консьержки – старые, сварливые уродины, записано огненными буквами, что вышеупомянутые консьержки держат жирных котов, которые целый день валяются на подушках, накрытых вязанными крючком накидками.

Далее сказано, что, пока коты валяются и спят, консьержки непрерывно смотрят телевизор и что в вестибюле непременно должно пахнуть стряпней: тушеным мясом, супом с капустой или свиным рагу. Мне страшно повезло, что я консьержка не в каком-нибудь, а в суперреспектабельном доме. До чего унизительно было готовить всю эту гадость, и как же я обрадовалась, когда месье де Брольи, государственный советник со второго этажа, вежливо, но твердо – должно быть, так он выражался, когда рассказывал жене об этом своем шаге, – дал мне понять, что подобные плебейские запахи неуместны в жилище такого класса. Однако я притворилась, что неохотно подчиняюсь.

Это было двадцать семь лет тому назад. И каждый день с тех пор я покупаю в мясной лавке ломтик ветчины или кусок телячьей печени, кладу в кошелек и несу домой вместе с пачкой лапши и пучком моркови. Глядите все: вот пища бедняков, имеющая то похвальное преимущество, что не издает неподобающего запаха, ведь я беднячка в доме богачей; таким образом я одновременно удовлетворяю общественные ожидания и своего кота по кличке Лев – он оттого и жирный, что обжирается едой, по идее предназначенной мне: свининой, макаронами с маслом, а я, пока он чавкает, могу спокойно, не смущая обоняние ближних, питаться тем, что отвечает моим собственным вкусам, о которых никто не имеет понятия.

Куда труднее оказалось утрясти вопрос с телевизором. Пока был жив мой муж, не возникало никаких проблем: Люсьен смотрел все подряд, избавляя меня от этой повинности. В вестибюль бесперебойно поступали нужные звуки, и этого хватало для поддержания устоев социальной иерархии; когда же Люсьена не стало, мне пришлось поломать голову, чтобы придумать, как сохранять необходимую видимость. Люсьен исполнял вместо меня тягостную обязанность, его невежество надежно укрывало меня от подозрений окружающих; лишившись мужа, я лишилась этой защиты.

Все решилось с появлением видеонаблюдения.

Раньше каждый входящий должен был нажимать кнопку вызова, теперь же у меня автоматически звенел звонок, соединенный с инфракрасным датчиком, давая мне знать о том, что в вестибюле кто-то есть, как бы далеко от входа я ни находилась. Потому что обычно я провожу почти все время в задней комнатке, изолированной от навязанных моим положением запахов и звуков, где могу делать что хочу и при этом оставаться в курсе всего, что должен знать исправный страж: кто, когда и с кем входит и выходит.

Таким образом, жильцы, проходя через вестибюль, слышали невнятный шум, говорящий о том, что за дверью работает телевизор, и этого вполне хватало их воображению – в силу его убожества, а вовсе не богатства, – чтобы нарисовать образ консьержки, сидящей перед экраном. Я же, забившись в свое логово, ничего не слышала, но понимала, что кто-то вошел. Тогда я подходила к круглому окошку, выходящему на лестничную клетку, и смотрела, кто там, оставаясь невидимой за белой муслиновой занавеской.

Видеокассеты, а потом божественные диски DVD еще более радикально изменили к лучшему мое существование. Поскольку консержка, млеющая перед «Смертью в Венеции», – явление довольно странное, как и симфония Малера, доносящаяся из привратничкой, я посягнула на скопленные с большой натугой семейные сбережения и купила новый телевизор с плеером, который установила в своем тайном убежище. А старый остался в офисе и обеспечивал мне конспирацию, изрыгая рассчитанную на улиточки мозги дребедень, пока я со слезами на глазах наслаждалась шедеврами мирового искусства.

Глубокая мысль № 1

Погонишься за звездами –

Кончишь жизнь в аквариуме

Золотую рыбкой.

Насколько мне известно, взрослым случается иногда задуматься о своей бездарной жизни. В таких случаях они начинают стенать, бестолково метаться, как мухи, которые тупо бьются и бьются в стекло, чахнуть, страдать, переживать и удивляться, как занесло их туда, куда они вовсе не стремились. У самых умных эти причитания превратились в ритуал: о презренное, никчемное буржуазное прозябание! Такие циники попадают среди папиных знакомых. Сидят в гостиной за столом и вздыхают с самодовольным видом: «Эх, где мечты нашей молодости! Развеялись как дым, такая сволочная штука – жизнь». Ненавижу эту их фальшивую умудренность! На самом деле они ничем не отличаются от остальных – такие же ребяташки, которые не понимают, что с ними случилось, им хочется плакать, но они пыжатыся и корчат из себя больших и крутых.

Между тем понять совсем нетрудно. Беда в том, что дети верят словам взрослых, а когда сами взрослеют, в отместку врут собственным детям. «Взрослые знают, в чем смысл жизни» – вот всемирное вранье, в которое все обязаны верить. А когда станешь взрослым и поймешь, что это неправда, уже поздно. Тайна так и остается неразгаданной, а энергии больше нет – вся она

давно растрочена на глупейшие занятия. Чтобы было не так горько, приходится притворяться, делать вид, будто не видишь, что никакого смысла в твоей жизни не обнаружилось, и обманывать детей в надежде убедить самого себя.

Все, с кем общаются мои родители, прошли один и тот же путь: в молодости старались выжать все, что можно, из своих мозгов, воспользоваться преимуществом хорошего образования и выбиться в элиту, а потом всю жизнь давались диву: почему такой многообещающий дебют привел к такому убогому существованию? Люди пускаются в погоню за звездами, а кончают тем, что трепыхаются, как золотые рыбки в аквариуме. Так не проще ли, спрашивается, с самого начала учить детей, что жизнь абсурдна. Пусть это несколько омрачит детство, зато сэкономит немало времени в зрелости да еще, между прочим, предохранит от душевной травмы – я имею в виду аквариум.

Мне двенадцать лет, и я живу в доме номер семь по улице Гренель, в роскошной квартире. У меня богатые родители, богатая семья, и, значит, теоретически мы с сестрой тоже богатые. Мой отец раньше был министром, сейчас он депутат, а когда-нибудь, глядишь, взлетит на самый верх и будет попивать казенное вино в особняке Лассэ[3 - Особняк Лассэ – резиденция президента Национального собрания.].

Мать... Ну, она не блещет интеллектом, зато очень образованная. Доктор филологических наук. Так что пишет приглашения гостям без единой ошибки и вечно пристает к нам с литературными намеками («Коломба, не строй из себя госпожу де Германт», «Ах, золотко мое, ты настоящая Сансеверина»).

Но, несмотря на такое везение и богатство, я давно знаю, что конец один: аквариум. Откуда знаю? Дело в том, что я очень умная. Просто зверски. По сравнению с ровесниками – и говорить нечего! Но поскольку мне вовсе не хочется, чтобы это было заметно, – в семье, где умственные способности ценятся превыше всего, одаренному ребенку не дадут спокойно жить, – я, как могу, стараюсь в школе поменьше проявлять свои таланты, и все равно по всем предметам первая. Можно подумать, что симулировать нормальное развитие, когда ты в двенадцать лет соображаешь на уровне выпускного филологического класса, ничего не стоит. А на деле – ничего подобного! Казаться глупее, чем ты есть, ужасно трудно. Хотя, по крайней мере, не сдохнешь со скуки: ведь чтобы понять и усвоить то, что объясняют в школе, мне требуется совсем не много времени, и неизвестно, куда девать остальное – а тут я все время занята: играю роль типичной отличницы, чтоб было все

как полагается: тот же стиль, те же слова, повадки, вкусы и те же мелкие ошибки. Я внимательно изучаю все письменные работы Констанс Борель, второй ученицы в классе, по французскому, математике и истории и мотаю на ус, что и как делать мне: во французском должно быть связное изложение и правильное написание, в математике – механическая запись бессмысленных действий, а в истории – перечисление событий, разбавленное логическими связками. Даже если сравнивать со взрослыми, большинство из них далеко не так умны, как я. Таков факт. Гордиться тут нечем – моей заслуги в этом нет. Но в аквариум я, уж точно, не попаду. Таково мое непоколебимое решение. Судьба даже такой способной, яркой личности, как я, незаурядной и превосходящей основную массу людей, заранее предопределена, и это обидно до слез; почему-то никому не приходит в голову, что если жизнь не имеет смысла, то нет никакой разницы, добьешься ли ты в ней блестящего успеха или окажешься неудачником. Разве что будет житья полегче. Да и то: разумному человеку успех приносит разочарование, тогда как посредственность всегда питает какие-то иллюзии.

Для себя я твердо все решила. Я уже скоро выйду из детского возраста и, несмотря на то что знаю, какая жалкая комедия наша жизнь, вряд ли сохраню трезвость мысли до конца. В людях заложена вера в то, чего нет, потому что они живые существа и не хотят страдать. Вот мы и стараемся изо всех сил внушить себе, что есть некие высшие ценности, которые якобы придают жизни смысл. И, при всем своем могучем интеллекте, я не знаю, как долго смогу противиться этой биологической потребности. Выдержу ли горькое сознание того, что жизнь бессмысленна, когда мне придется включиться во взрослые гонки? Не думаю. Потому-то я и решила: в конце этого учебного года, в день, когда мне исполнится тринадцать лет, то есть шестнадцатого июня, я покончу с собой. Заметьте, трубить об этом, будто о каком-то отважном и дерзком деянии, я, конечно, не собираюсь. Наоборот, мне нужно, чтобы никто ничего не заподозрил. У взрослых истерическое отношение к смерти, они придают ей непомерную важность, разводят вокруг нее всякие церемонии, тогда как это самая обычная вещь на свете. Лично для меня имеет значение не то, что я умру, а то, как это произойдет. Моя японская жилка, естественно, склоняет меня к харакири. Под этой «жилкой» я понимаю свою любовь к Японии. Как только у нас в школе начался второй язык, я выбрала, само собой, японский. Правда, учитель попался не ахти, по-французски говорит так, что ни слова не разберешь, и большую часть урока растерянно чешет в затылке, но есть приличный учебник, и я уже неплохо продвинулась с начала года. Надеюсь, еще несколько месяцев – и смогу читать свои любимые манги в оригинале. Мама не понимает, «как это такая умная девочка, как ты, может читать манги!» Я даже не пытаюсь объяснить ей,

что слово «манга» по-японски означает просто «комикс». Пусть себе думает, что я сдвинулась на молодежной субкультуре. В общем, я рассчитываю через пару месяцев прочесть по-японски Танигучи[4 - Хиро Танигучи – японский художник, автор множества популярных рисованных книжек-манга.]. Однако – возвращаясь к нашему предмету – надо успеть до шестнадцатого июня, потому что в этот день я кончаю с собой. Правда не по-японски. Харакири – это, конечно, прекрасно и благородно, но... очень уж больно, а мне не хочется мучиться. Мучительная смерть не для меня, наоборот, по-моему, если решаешь умереть и тем более считаешь, что смерть в порядке вещей, то нужно все сделать безболезненно. Смерть должна быть незаметным переходом, мягким скольжением в вечный покой. Некоторые выбрасываются из окна с пятого этажа, травятся кислотой или вешаются. Как глупо! И даже, я бы сказала, непристойно! Ведь умираешь для того, чтобы не страдать? Я к своему уходу готовлюсь основательно: вот уже целый год каждый месяц беру по таблетке снотворного из коробочки в маминной спальне. Она употребляет их в таком количестве, что, верно, не заметила бы, даже если б я таскала по штуке в день, но я предпочитаю не рисковать. Когда задумываешь что-то, чего, скорее всего, никто не одобрит, надо соблюдать крайнюю осторожность. Иначе не успеешь оглянуться, как окружающие набросятся и не дадут тебе исполнить самое заветное желание, вопя при этом о «смысле жизни», «человеколюбии» и прочем идиотизме. Или вот еще о том, что «детство свято!».

Короче говоря, я шаг за шагом приближаюсь к шестнадцатому июня и не испытываю никакого страха. Разве что легкие сожаления. Но в целом этот мир не создан для принцесс. Однако же все это вовсе не означает, что, задумав самоубийство, обязательно надо киснуть, как гнилой помидор. Совсем наоборот. Не важно, что умрешь, не важно, в каком возрасте, важно, за каким занятием тебя застанет кончина. Герои Танигучи умирают во время восхождения на Эверест. У меня нет ни малейшего шанса штурмовать Чогори или Гран-Жорасс до шестнадцатого июня, поэтому моим Эверестом будет интеллектуальная высота. Я задалась целью продумать до этих пор как можно больше глубоких мыслей и записать их в тетрадь: пусть ничто не имеет смысла, но почему бы уму не поизощряться на эту тему? А поскольку во мне сильна японская жилка, я усложнила себе задачу: каждая глубокая мысль должна быть облечена в форму миниатюрного японского стихотворения, хокку (из трех стихов) или танка (из пяти).

Больше всего мне нравится хокку Басё:

Хижина рыбака.

Замешался в груды креветок

Одинокий сверчок[5 - Перевод Веры Марковой.].

Это вам не тесный аквариум, а настоящая поэзия!

Но в мире, где я живу, поэзии гораздо меньше, чем в хижине японского рыбака. По-вашему, нормально, когда четыре человека занимают квартиру в четыреста квадратных метров, тогда как множество других людей, среди которых, очень может быть, есть проклятые поэты, не имеют приличного жилья и ютятся вдесятером на двадцати? Когда прошлым летом в новостях передали, что несколько африканцев погибли из-за того, что их битком набитый дом загорелся от брошенной на лестнице спички, я подумала вот что. Эти люди каждый день тычутся в стенки своего аквариума, и никакие сказки не заслонят очевидной реальности. А мои родители и сестра, в своей четырехсотметровой квартире, заставленной мебелью и увешанной картинами, воображают, будто плавают в океане.

Так вот, шестнадцатого июня я постараюсь напомнить им об их сардиньем уделе: возьму и подожгу квартиру (с помощью разжигательной жидкости для барбекю). Заметьте, я не убийца, я это сделаю, когда в квартире никого не будет (шестнадцатого июня – суббота, а в субботу вечером Колумба отправляется к Тиберу, мама – на йогу, а папа – в свой клуб, дома остаюсь одна я), кошек выпущу в окно и заблаговременно вызову пожарных, чтобы обошлось без жертв. А сама спокойненько улягусь в маминой кровати и проглочу свое снотворное.

Может, лишившись квартиры и дочери, они задумаются о мертвых африканцах?

Камелии

1. Аристократка

По вторникам и четвергам ко мне заходит на чай единственная моя подруга Мануэла. Это простая женщина, которая двадцать лет подряд вытирает пыль в чужих домах, но ничуть от этого не остервенела. «Вытирать пыль» – это такой стыдливый эвфемизм. У богатых не принято называть вещи своими именами.

– Я вытряхиваю корзинки с грязными прокладками, – рассказывает она со своим мягким, пришепетывающим акцентом, – подтираю собачью блевотину, чищу птичьи клетки – никогда и не подумаешь, что такие крохотные пташки столько гадят! – мою сортиры. В общем, та еще пыль!

Вот и представьте себе, что к двум часам дня, когда Мануэла спускается ко мне – во вторник от Артансов, а в четверг от де Брольи, – она успевает до блеска отдраить их унитазаы, позолоченные, но от этого не менее вонючие и грязные, чем прочие толчки на белом свете, ибо если есть у богачей что-то, что, как ни крути, равняет их с бедняками, так это зловонные кишки, которые должны куда-то извергать свое мерзостное содержимое.

Отдайте же должное Мануэле. Хоть в мире, где одни брезгливо зажимают нос, предоставляя делать грязную работу другим, ей отведена роль жертвы, она не теряет некой душевной утонченности, которая стоит неизмеримо больше любой позолоты, тем паче украшающей отхожее место.

– Подай на стол хоть корочку, да на красивом блюде, – говорит Мануэла и достает из своей старой кошелки светлую плетеную корзиночку, из которой свешиваются уголки шелковистой пунцовой бумаги, там, словно в гнездышке, лежат миндальные пирожные. В одну чашку я наливаю кофе – пить его мы не будем, но нам обеим нравится вдыхать кофейный аромат, в две другие – зеленый чай, и мы принимаемся молча потягивать его, заедая хрустящими пирожными.

Мануэла точно такое же ходячее нарушение стереотипа прислуги-португалки, как я – стереотипа консьержки, только сама не ведает об этом отступничестве. Она появилась на свет в Фаро, под фиговым деревом, из материнской утробы, что родила еще семерых детей до и шестерых после этой дочери; сызмала работала от зари до зари в поле, очень рано была отдана в жены каменщику, который вскоре уехал во Францию; у нее четверо детей, французов по праву рождения, но в глазах французов все равно португальцев. Так вот, Мануэла, во всем, от косынки на голове до черных эластичных чулок, типичная крестьянка

из Фаро, – это самая настоящая, чистейшая аристократка, которая ни на что не ропщет, потому что для нее, отмеченной печатью душевного благородства, предрассудки и титулы ровно ничего не значат. Что такое аристократка? Та, кого не затрагивает пошлость, даже если окружает ее со всех сторон.

Пошлость воскресных семейных застолий, со смачным хохотом, скрывающим обиду безвинно поправленных людей, которым не на что надеяться; пошлость нищего быта, такого же мертвяще-скучного, как неоновый свет в заводских цехах, куда мужчины каждый день бредут, точно тени в ад; пошлость работодательниц, чью низость не прикроют никакие деньги и которые обращаются с ней хуже, чем с шелудивой собакой. И надо видеть Мануэлу, преподносящую мне торжественно, как королеве, плоды своего кондитерского искусства, чтоб оценить ее великодушие. Да-да, как королеве. Стоит появиться Мануэле – и привратницкая становится дворцом, а наша бедная пирушка – королевской трапезой. Подобно сказочнику, который превращает серую жизнь в сияющую феерию, Мануэла умеет наполнить обыденность сердечным теплом и весельем.

– Сынок Пальеров поздоровался со мной на лестнице, – вдруг говорит она, прерывая молчание.

Я фыркаю и пожимаю плечами:

– Начитался Маркса.

– Маркса? – переспрашивает Мануэла, и «кс» звучит у нее почти как «ш», мягкое и ласковое, как ясное небо.

– Это отец коммунизма, – уточняю я.

– Политика, – презрительно морщится Мануэла. – Игрушка для богатых деток, которой они ни с кем не поделятся. – И, подумав, поднимает бровь. – Странно, обычно он читает совсем другие книжки.

Кто-кто, а Мануэла отлично знает, какие журнальчики молодые люди прячут под матрас, и сынок Пальеров одно время такой литературой очень увлекался, причем имел свои пристрастия, судя по замусоленной страничке с красноречивым заголовком: «Маркизы-озорницы».

Мы с Мануэлой смеемся и еще какое-то время болтаем о том о сем как две добрые подружки. Я страшно люблю эти наши посиделки, и у меня сжимается сердце при мысли о том дне, когда исполнится мечта Мануэлы и она уедет на родину насовсем, а я останусь тут дряхлеть в одиночку, и некому будет дважды в неделю возводить меня в ранг тайной королевы. И еще я со страхом думаю о том, что, когда уедет Мануэла, моя единственная за всю жизнь подруга, единственный человек, который все понимает, хоть никогда ни о чем не спрашивает, ее отъезд, пожалуй, станет концом, саваном забвения для той, кого никто не знает.

В парадном слышались шаги и характерный звук – кто-то нажал кнопку лифта, старого подъемника с черной сеткой и кабиной с откидными дверцами, обитой кожей и обшитой деревом – ни дать ни взять старинная карета, не хватает лишь грума, вот только места для него не предусмотрено. Шаги знакомые – это Пьер Артанс с пятого этажа, гастрономический критик с замашками олигарха в худшем смысле слова: каждый раз, когда ему случается заглянуть в привратницкую, он щурится, как будто я живу в темной пещере, хотя его собственные глаза свидетельствуют об обратном.

А эти его знаменитые статьи, читала я их...

– Лично я ни слова не поняла, – так говорит о них Мануэла. Сама она считает, что хорошее жаркое само за себя говорит.

Да и нечего там понимать. Жалко смотреть, как такой талант растрачивается понапрасну из-за слепоты его обладателя. Пьер Артанс может написать несколько страниц, допустим, о помидорах, причем написать блестяще – под его пером критическая статья превращается в увлекательный рассказ, что само по себе поразительно большое искусство, – но так, как будто автор никогда не видел, не держал в руках простого помидора, и потому написанное производит впечатление плачевных потуг на живость. Как можно быть столь даровитым и в то же время столь слепым ко всему, что тебя окружает? – часто думала я, когда он, гордо задрав свой внушительный нос, проходил мимо меня. Выходит, можно. Некоторые хоть и смотрят на мир, но не способны ощутить живую субстанцию, аромат всего сущего, о людях они разглагольствуют так, словно это автоматы, а о вещах – будто все они бездушны и их можно исчерпать словами, произвольно взятыми из головы.

Как нарочно, шаги вдруг приблизились, еще миг – и Артанс звонит в мою дверь.

Я встаю и иду открывать, не забывая шаркать ногами в таких классических тапочках, что только связка берета с длинным батоном могла бы поспорить с ними в соответствии шаблону. Шаркаю и отлично понимаю, что вывожу из терпения Мэтра, являющего собою образец пресловутой нервозности крупных хищников, поэтому старательно приоткрываю дверь как можно медленнее и опасно высовываю нос, надеюсь красный и лоснящийся, как полагается.

– Мне должны доставить пакет, – говорит Артанс, прищурясь и стараясь не дышать. – Вы могли бы сразу же принести его?

Сегодня на благородной шее месье Артанса красуется завязанный бантом шелковый шарф в горошек, который ему совсем не идет – легкие пышные складки в сочетании с львиной гривой напоминают воздушную балетную пачку и лишают его наружность всякой брутальности, которую сильная половина человечества почитает своим украшением. А кроме того, что, черт возьми, напоминает мне этот шарф? Есть, вспомнила – и еле сдерживаюсь, чтоб не улыбнуться. Конечно же, шарф Леграндена. Легранден – герой романа «В поисках утраченного времени» небыизвестного Марселя – тоже своего рода консьержа, – сноб, который разрывается между двумя кругами: тем, где вращается, и тем, куда хочет проникнуть, – напыщенный сноб в таком же шарфе, чутко отражающем все оттенки его эмоций, от надежды до обиды и от раболепства до высокомерия. Однажды на площади в Комбре он столкнулся с родными повествователя, здороваться с ними ему не хотелось, а избежать встречи не получалось, и вот он распускает шарф по ветру, что должно послужить знаком рассеянно-меланхолического настроения и избавить его от нормальных приветствий.

Пьер Артанс, который Пруста, разумеется, читал, но не проникся от этого особой симпатией к консьержам, нетерпеливо покашливает.

Итак, он спросил меня: «Вы могли бы сразу же принести его?» (Имеется в виду пакет, который принесет курьер, – не может же корреспонденция такого важного лица прийти обычной почтой.)

– Да, – отвечаю я в рекордно краткой форме, адекватной форме вопроса, в котором, на мой взгляд, сослагательное наклонение не искупает отсутствие

слова «пожалуйста».

- И поосторожней, прошу вас, это хрупкая вещь, - добавляет Артанс.

Сочетание безличного понукания с «прошу вас» мне тоже не очень понравилось, тем более что Артанс явно считает меня нечувствительной к стилистическим тонкостям и выражается таким образом вполне сознательно, его учтивости просто не хватает на то, чтобы предположить, будто это может меня оскорбить. Если богач формально обращается к вам, но по голосу его ясно, что фактически он говорит скорее сам с собой и даже не ждет, что вы его поймете, значит, вы просто ил на дне общественной лужи.

- Как это - хрупкая? - спрашиваю я не слишком любезно.

Он обреченно вздыхает, и меня обдает легким запахом имбиря.

- Это инкунабула, - говорит он, уставясь мне в глаза (я в меру сил придаю им стеклянность) самодовольным взглядом сытого собственника.

- Господи, твоя воля, - говорю я брезгливым тоном. - Не беспокойтесь, как курьер придет, так я ее вам мигом доставлю.

И захлопываю дверь.

А про себя смеюсь - представляю, как вечером Пьер Артанс будет потешать за столом гостей рассказом о том, как возмутилась его консьержка, услышав слово «инкунабула», - ей, верно, померещилось что-то неприличное.

Один Бог знает, кто из нас двоих больше достоин насмешки.

Дневник всемирного движения

Запись № 1

Уйти в себя и не терять трусов.

Регулярно записывать глубокие мысли, конечно, прекрасно, но, боюсь, этого недостаточно. То есть что я имею в виду: раз я собираюсь через несколько месяцев покончить с собой и спалить квартиру, то времени у меня не так много, и надо в оставшийся срок успеть сделать что-нибудь значительное. Кроме того, я словно бы проверяю сама себя: если уж кончаешь жизнь самоубийством, надо быть уверенной, что поступаешь правильно, зачем же зря поджигать квартиру! Если на свете есть что-нибудь такое, что имеет смысл пережить, я не должна этого упустить, потому что, во-первых, когда умрешь, жалеть будет поздно, а во-вторых, умирать, потому что ошиблась, слишком глупо.

Ну так вот, глубокие мысли – это само по себе. Но там я в своем амплуа – умничаю (и издеваюсь над другими умниками). Не всегда удачно, но занятно. И я подумала: чтобы не было перекоса, надо уравновесить эту «игру ума» другим дневником, где говорилось бы о чем-то телесном или вещественном. Пусть это будут не глубокие мысли, а перлы материи. Что-то плотное, осязаемое. Но в то же время красивое, прекрасное. Кроме любви, дружбы и Искусства, я что-то не вижу ничего, что могло бы наполнить человеческую жизнь. До настоящей любви и дружбы я еще не доросла. Но Искусство... если бы я продолжала жить, то жила бы только им. Поймите меня правильно: под Искусством с большой буквы я подразумеваю не только шедевры великих мастеров. Даже за Вермеера держаться не стану. Все это, конечно, замечательные произведения, но они мертвые. Нет, я имею в виду прекрасное в мире, то, что может открыть нам движение жизни. И этот «Дневник всемирного движения» будет посвящен движению людей, одушевленных или, за неимением лучшего, неодушевленных предметов и поискам чего-то до такой степени прекрасного, что придало бы ценность жизни. Поискам красоты, гармонии, энергии. Если такое найдется, я, может быть, пересмотрю свои планы: если вместо прекрасной умозрительной идеи найду прекрасное движение физических тел, то, может, все-таки решу, что жизнь достойна того, чтобы ее прожить.

Идея вести два дневника (один для ума, другой для тела) возникла у меня вчера, когда папа смотрел по телевизору регби. Обычно в таких случаях я сама больше смотрю на папу. Это очень забавно: он сидит на диване перед экраном в рубашке с засученными рукавами, без носков, вооружившись банкой пива и тарелкой колбасы, и, кажется, у него на лбу написано: «Глядите! Я и таким тоже могу быть!» Видимо, ему не приходит в голову, что один стереотип

(серьезный государственный муж, министр), помноженный на другой (свой парень, не дурак хлебнуть пивка), дает стереотип в квадрате. Так вот, вчера, в субботу, папа вернулся пораньше, зашвырнул подальше свой портфель, скинул носки, закатал рукава, сходил на кухню за пивом, включил телевизор, рухнул на диван и сказал мне: «Пожалуйста, принеси колбаски, а то, боюсь, пропущу хаку». Ну, что касается хаки, то я прекрасно успела порезать и принести колбасу, а она еще и не начиналась – всё крутили рекламу. Мама с презрительным видом присела на подлокотник (тоже стереотип: в такой семье жене положено быть занудой-интеллектуалкой левых взглядов) и пристает к отцу с какой-то сложной затеей: устроить званый ужин, чтоб помирить на нем две разругавшиеся пары. Зная, какой из моей матушки тонкий психолог, смешно подумать, чем это кончится. Я отдала папе колбасу и, поскольку Коломба у себя в комнате слушала умеренно авангардную музыку, модную в богатых кварталах, подумала: а что, чем хуже хака? Мне смутно помнилось, что это какая-то шуточная пляска, которую новозеландская команда всегда исполняет перед матчем. Что-то вроде устрашения противника на обезьяний лад. А само регби – грубая игра, где игроки только и делают, что валят друг друга на траву, падают, вскакивают и тут же сцепляются снова.

Реклама наконец закончилась, и после титров на фоне катающихся по траве здоровенных детин показали стадион с голосами комментаторов за кадром, потом комментаторов крупным планом (все, как на подбор, не дураки поесть) и опять стадион. На поле вышли игроки, и тут на меня накатило. Я не сразу разобралась, в чем дело: на экране вроде бы ничего особенного, но со мной творилось что-то странное, я чувствовала какое-то покалывание, и у меня, как говорится, захватило дух, будто я чего-то лихорадочно ждала. Папа тем временем успел выдуть банку пива и просил маму, которая поднялась со своего места, принести вторую, собираясь дать волю галльскому темпераменту. А меня все не отпускало. Я силилась понять, что происходит, пялилась на экран, но не могла сообразить, что же такого я вижу и откуда эти колючие мурашки.

Все стало понятно, когда новозеландцы принялись отплясывать свою хаку. Среди них был один совсем молодой высоченный игрок маори. Он-то и привлек мое внимание – сначала, наверно, высоким ростом, но потом еще и какой-то необычной манерой двигаться. Движения его отличались особой плавностью, а главное, оставались движениями в себе. Большинство людей передвигаются в пространстве с определенной целью. Вот, например, как раз сейчас, когда я это пишу, мимо меня, волоча брюхо по полу, идет наша кошка по кличке Конституция. У этого создания нет осознанной цели всей жизни, но в данный момент она идет в определенном направлении, скорее всего, к креслу. И сама

манера двигаться говорит об этом: она идет куда-то. А вот прошла в переднюю мама, она собирается в поход по магазинам и уже наполовину ушла, стремление обгоняет движение. Не знаю, как бы это лучше объяснить, но когда мы передвигаемся, то словно разорваны этим целенаправленным движением: мы еще здесь, но уже не вполне, поскольку куда-то устремлены, понимаете? Чтобы не распадаться, надо совсем не двигаться. Или ты двигаешься ирываешься, или остаешься цельным, но тогда совсем не двигаешься. А этот игрок... я сразу, как только он появился на поле, почувствовала, что он чем-то не похож на других. Впечатление было такое, как будто, двигаясь – он двигался, а как же! – он оставался на месте. Скажете, нелепость? Когда началась хака, я не сводила с него глаз. Конечно же, он совсем не такой, как все. Вот и обжора № 1 говорит: «Сомю, великолепный новозеландский замыкающий, как всегда, впечатляет своим богатырским телосложением: рост – два метра семь сантиметров, вес – сто восемнадцать килограммов, такое прелестное дитя!» Ну да, все смотрят на него как замороженные, но никто толком не знает почему. А ведь теперь, в хаке, это прямо-таки бросалось в глаза: он делал те же движения, что и все остальные (хлопал себя по ляжкам и по локтям, отбивал ногой ритм, глядя в лицо противнику, как разъяренный воин), но, если жесты его товарищей были направлены в сторону соперников и зрителей, то его – оставались при нем, были жестами в себе, и это придавало ему невероятную энергию, невероятную интенсивность. И вот хака, воинственная пляска, развернулась во всю силу. А в войне ценна не та сила, которую он расточает, устрашая врага грозными воплями и жестами, а та, которую он способен сосредоточить в себе, не выпуская ее наружу. Молодой маори превращался в дерево, в огромный несокрушимый дуб с мощными корнями и широко раскинутой кроной, это чувствовали все. Однако было совершенно ясно, что этот огромный дуб может взмыть и полететь с быстротой ветра, несмотря на свои могучие корни, вернее, благодаря им.

Дальше я стала жадно вылавливать глазами такие моменты матча, когда кто-нибудь из игроков весь превращался в чистое движение, а не разрывался на куски, устремляясь куда-то. И выловила их немало! Они встречались в разных положениях: то один игрок из схватки вдруг укоренялся, становился точкой равновесия, прочным компактным якорем, который придавал устойчивость всей группе; то другой во время прорыва так удачно разгонялся, что, не думая о цели и сросшись с мячом, весь вкладывался в движение и бежал, словно осененный благодатью; то бомбардир, отрешившись от всего окружающего, в бессознательном наитии направлял удар с идеальной точностью. Но никто не мог превзойти статного маори. Когда он успешно провел первый занос, папа ошеломленно застыл и даже забыл о своем пиве. Он болел за французов и,

кажется, должен был расстроиться, но вместо этого хлопнул себя по лбу и выдохнул: «Ну дает!» Комментаторы и те, пусть с досадой в голосе, не могли не признать, что видели чудо: маори пронесся через все поле парящим бегом, оставив других игроков далеко позади. А те выглядели нелепо дрыгающимися в жалких потугах догнать его фигурками.

И тогда я подумала: вот оно, я открыла, что в мире бывает абсолютное движение, стоит ли ради этого продолжать жить?

Как раз в эту минуту у одного из французских игроков, участвовавших в моле, соскочили трусы, и это вызвало такое буйное веселье трибун, что мне стало мерзко; даже мой отец, чьи предки двести лет воспитывались в строгом протестантском духе, поперхнулся пивом и зашелся от хохота. Меня такое кощунство оскорбило.

Нет, одного случая мало. Чтобы переубедить меня, нужно, чтобы это движение проявлялось еще и еще. Но по крайней мере, я получила представление о нем.

2. О войнах да колониях

В самом начале я сказала, что нигде не училась. Это не совсем так. Но мое образование не пошло дальше начальной школы, а перед экзаменом в среднюю мне пришлось маскироваться, чтобы рассеять подозрения месье Сервана, нашего учителя: когда мне было только десять лет, он как-то раз меня застукал – я с жадностью читала его газету, а там писали только о войнах да колониях.

Почему я не пошла учиться дальше? Сама не знаю. Думаете, смогла бы? Ответить мог бы разве что оракул. Меня мутило при одной мысли о том, чтобы мне, голодранке, без всякой красоты и обаяния, без роду-племени и без амбиций, неотесанной и не умеющей шагу ступить на людях, соваться в мир баловней судьбы и соревноваться с ними, – так что я и не пыталась. Я хотела только одного: чтобы меня оставили в покое, ничего от меня не требовали и чтобы каждый день можно было выкроить немножко времени для утоления моего ненасытного голода.

Когда у тебя нет потребности в пище и вдруг на тебя нападает голод, то это и мучение, и просветление. В детстве я была вялой, почти калекой – сутулой, чуть ли не горбатой, и безропотно жила в полном убожестве, потому что знать не знала, что есть какая-то другая жизнь. Полное отсутствие воли граничило с небытием – ничто не вызывало во мне интереса, ничто не прерывало дремоты; меня, как травинку в море, несло куда-то по прихоти неведомых сил; при такой бессознательности не могло зародиться даже желание со всем покончить.

Дома у нас почти не разговаривали. Дети вопили, а взрослые занимались каждый своим делом, как будто нас и вовсе не было. Мы ели простую и грубую пищу, но досыта, нас не обижали, одевали по-бедняцки, но в чистые и тщательно залатанные одежды, так что мы могли их стыдиться, зато не мерзли. Но речи мы почти не слышали.

Свет просиял, когда в пять лет я первый раз пошла в школу и с удивлением и страхом услышала чужой голос, обращенный ко мне и назвавший мое имя.

– Ты Рене? – спросил этот голос, и чья-то рука ласково опустилась мне на плечо.

Это было в коридоре, нас собрали там в первый день учебного года, поскольку на улице шел дождь.

– Рене? – повторил мелодичный голос откуда-то сверху, а рука все так же, легко и нежно, поглаживала мое плечо – язык прикосновений был мне совершенно неизвестен.

Я подняла голову – движение такое непривычное, что мне едва не стало плохо, – и встретила взгляд.

Рене. Это же я. Впервые кто-то позвал меня по имени. Родители обычно просто призывно махали рукой или односложно меня окликали, и, когда эта незнакомая женщина – первым, что я увидела, были ее светлые глаза и улыбка – произнесла мое имя, душа моя распахнулась перед ней, она внезапно стала мне так близка, как никто и никогда прежде. Мир вокруг обрел цвет. В болезненной вспышке встрепенулись все чувства: я услышала шум дождя, увидела стекающие по оконным стеклам струи, ощутила запах мокрой одежды, тесноту коридора, в котором кишела ребятня, подивилась мерцающему блеску старинных медных крючков в раздевалке, где висели гроздь пальтишек из плохонького сукна,

и высоким – на детский взгляд, до самого неба – потолкам.

Испуганно уставясь на учительницу, которая заставила меня заново родиться, я вцепилась в ее руку.

– Давай-ка снимем твою куртку, Рене, – предложила она и, крепко придерживая, чтоб я не упала, быстро и сноровисто раздела меня.

Многие думают, что сознание просыпается в тот миг, когда мы рождаемся, но это заблуждение, которое объясняется, скорее всего, тем, что мы не можем представить себе живое, но лишённое сознания существо. Нам кажется, что мы всегда умели видеть и чувствовать, поэтому мы уверенно отождествляем появление на свет с появлением сознания. Вот, однако же, опровержение этой ошибочной теории: некая девочка, Рене, вполне исправное воспринимающее устройство, наделённое зрением, слухом, обонянием, вкусом и осязанием, могла пять лет прожить, ни в коей мере не осознавая ни себя, ни окружающий мир. На самом деле сознание включается тогда, когда произносится имя.

Меня же, по несчастному стечению обстоятельств, никто и не думал называть по имени.

– Какие красивые глазки, – сказала учительница, и я знала, что она не лжет, – в тот миг в моих глазах сияла открывшаяся им красота, в них отражалось и искрилось чудо моего рождения.

Я затрепетала от счастья и попыталась угледеть в ее глазах отклик разделенной радости. Но в мягком, благожелательном взоре читалось только сострадание.

Вот так, всего лишь с жалостью, принимал новорожденную мир.

Меня же обуяла страсть познать его.

Поскольку нормальный способ утолить свой голод путем общения с людьми был мне, дикарке, недоступен, – позднее я поняла, почему моя спасительница смотрела на меня так жалостливо: можно ли ждать, чтобы бедность познала упоение словом и научилась владеть им наравне с другими? – оставалось

поглощать книги. Никогда раньше я не держала их в руках. А тут увидела, как школьники постарше, все одинаково, как будто движимые одной и той же силой, впиваются глазами в невидимые мне следы и, идя по ним в полном молчании, кажется, извлекают из мертвой бумаги что-то живое.

Тайком от всех я научилась читать. Учительница все еще учила других новичков складывать буквы, а я уже давно постигла премудрость сопряжения значков на бумаге, их бесконечные комбинации и дивные звуки, в которые они обращаются и которыми в самый первый день, услышав свое имя, я была, как рыцарь шпагой, посвящена в школьный орден. Никто об этом не знал. Я читала как одержимая, сначала прячась от других, потом, когда сочла, что прошло достаточно времени, чтобы мое умение не казалось чем-то особенным, у всех на виду, но только тщательно скрывая, как увлекало меня это занятие и какое удовольствие мне доставляло.

Недоразвитый ребенок превратился в пожирателя знаний.

В двенадцать лет я бросила школу и стала работать по дому и в поле, как мои родители и старшие братья и сестры. А в семнадцать вышла замуж.

3. Пудель-тотем

В коллективном воображаемом консьержу с консьержкой, неразделимой паре, состоящей из таких ничтожных половинок, что порознь их и не заметишь, положено держать пуделя. Всем известно, что пудель – это курчавая собачонка, которую заводят мелкие лавочники на покое, одинокие дамы, которым больше не о ком заботиться, да консьержи из богатых домов, ютящиеся в полутемных закутках. Пудели бывают черные и абрикосовые. У абрикосовых больше блох, а от черных больше воняет. Те и другие истерически лают по каждому поводу, а еще охотнее – без всякого повода. Они семят за хозяином, перебирая негнушными лапками под неподвижным, похожим на сосиску тельцем. А уж глаза-то – черные, маленькие, злобные и глубоко запрятанные в шерсть! Пудели глупы и уродливы, покорны и кичливы. Одним словом, это пудели.

А раз пудель признан тотемом всего привратницкого племени, выходит, что супруги-консьержи точно так же, как и он, не умеют любить, не имеют желаний и так же глупы, уродливы, покорны и кичливы. Есть книжки, где принцы влюбляются в работниц или принцессы – в каторжников, но чтоб консьерж влюбился в своего коллегу, пусть даже противоположного пола, как бывает со всеми людьми, и их роман был где-нибудь описан – такое просто невозможно!

Мы с мужем никогда не держали пуделя, мало того, наш брак, смею сказать, был на редкость счастливым. С ним я была сама собой. Приятно и грустно вспоминать ранние воскресные часы, благословенные уже потому, что то было время законного отдыха, когда мой муж пил на кухне кофе, а я сидела рядом и читала.

Я вышла за него в семнадцать лет, после короткого, но недвусмысленного ухаживания. Он работал на заводе вместе с моими старшими братьями и иногда по вечерам заглядывал к нам выпить кофейку или чего-нибудь покрепче. Я, к сожалению, была безобразна. И это бы еще не беда, будь мое безобразие таким же, как у других. Но в том-то и дело, что оно было исключительным; во мне, еще совсем молоденькой, не чувствовалось ни капли свежести, так что уже в пятнадцатилетней девчонке проглядывала тетка лет пятидесяти. Обаяние юности украшает любую дурнушку, оно могло бы искупить и все мои изъяны: сутулую спину, бесформенное тело, короткие, корявые, страшно волосатые ноги, невыразительные, рыхлые – ни красоты, ни милоты – черты лица, но где там – в двадцать лет меня легко было принять за старуху.

Поэтому, когда намерения моего будущего мужа стали вполне очевидными и делать непонимающий вид не имело смысла, я решила объясниться с ним начистоту, первый раз за всю жизнь позволив себе открыться чужому человеку, и призналась, что меня удивляет, как это ему вздумалось на мне жениться.

Я была предельно искренна. Сказала, что давно смирилась с тем, что останусь одинокой. Что ясно понимаю: в нашем обществе бедная, некрасивая да еще и умная женщина обречена на незавидное существование, к которому полезно привыкать как можно раньше. Красоте прощается все, даже тупость. А если к ней приложен и ум, то он уже не справедливая компенсация, которую природа, восстанавливая равновесие, дарует самым обделенным из своих детей, а безделушка, роскошь, побочный довесок к сокровищу. Уродство же всегда виновно, и мне выпала злая участь, а тем, что я не дура, она лишь усугублялась.

– Вот что, Рене, – заговорил он очень серьезным тоном. И произнес длинную тираду, истратив на нее все свои ораторские способности, – больше таких излияний мне не приходилось слышать от него за всю жизнь. – Я не хочу жениться на какой-нибудь дурехе с куриными мозгами в хорошенькой головке, которая зачем-то корчит из себя бесстыдницу. Мне нужна хорошая, верная жена, хорошая мать семейства и хорошая хозяйка. Мирная, надежная спутница жизни, которая будет мне опорой и никогда меня не бросит. Взамен могу пообещать, что буду прилежным кормильцем, добрым семьянином, ну и без ласки не оставлю.

Все это он выполнил.

Он был приземистый и сухощавый, точно вязовый пень, но на лицо приятный и улыбочивый. Не пил, не курил, деньги не мотал, пари не заключал. Дома после работы смотрел телевизор, листал журналы по рыболовству или играл в карты с заводскими приятелями. Любил иной раз пригласить гостей. По воскресеньям ходил на рыбалку. А я вела хозяйство – муж не хотел, чтоб я работала в чужих домах.

Он был по-своему талантлив, хотя талант такого рода не высоко котируется в обществе. Все, на что он был горазд, – это мастерить, зато уж мастерство тут было настоящее, а не просто техническая сноровка; ему не хватало образования, но он вносил во все, за что брался, живую искру, – ту, что в прикладном деле отличает художника от ремесленника, а в искусстве слова показывает, что знания – еще не всё. Я с детства свыклась с мыслью, что мне предстоит прожить всю жизнь как монашке, и теперь благодарила небо, милостиво подарившее мне в супруги такого хорошего человека, да, неученого, но вовсе не глупого.

А то попался бы кто-нибудь вроде Грелье!

Бернар Грелье – один из немногих обитателей дома номер семь по улице Гренель, перед которыми мне не страшно себя выдать. Скажи я: «В „Войне и мире“ воплощен детерминистский подход к истории», или: «Хорошо бы смазать петли на двери чулана с мусорными баками», – он не уловит смысла ни в том, ни в другом. До сих пор не понимаю, каким чудом второе высказывание все же побуждает его к нужному действию. Как можно что-то делать, если

ничего не понимаешь? Или такие указания не требуют участия разума и подобны внешним импульсам, которые включают рефлекторную дугу спинного мозга без всякого участия головного? Может быть, призыв смазать петли, не подвергаясь осмыслению, совершенно механически передается рукам и ногам?

Бернар Грелье – муж Виолетты Грелье, которую Артансы величают экономкой. Она поступила к ним на службу тридцать лет тому назад как простая горничная и поднималась в должности по мере того, как богатели хозяева; сегодня, в ранге экономки, она управляет крошечным штатом, в который входят приходящая прислуга (Мануэла), дворецкий-англичанин, которого нанимают по торжественным случаям, да лакей на побегушках (ее собственный муж), – и по примеру выбившихся в крупные буржуа хозяев презирает разную мелкую сошку. Целыми днями трещит без умолку, мечется во все стороны с важным видом, школит челядь, как при версальском дворе, и надоедает Мануэле напыщенными рассуждениями о том, что работать следует на совесть и что нынче перевелись хорошие манеры.

– Она уж точно не читала Маркса, – сказала как-то Мануэла.

Я была сражена таким метким замечанием в устах прислуги-португалки, мало знакомой с трудами философов. Да уж, Маркса Виолетта Грелье, бесспорно, не читала, поскольку это имя не встречается в названиях средств для чистки столового серебра в богатых домах. Зато она каждый день подробно изучала глянцевые каталоги сортов крахмала и кухонных тряпок из натурального льна.

В общем, замуж я вышла удачно.

И очень скоро призналась мужу в самом большом своем грехе.

Глубокая мысль № 2

Кошка в этом мире –

Украшение дома?

Скорей современный тотем.

Во всяком случае, у нас это именно так. Тому, кто хочет узнать нашу семью, достаточно взглянуть на пару наших кошек. Два толстенных бурдюка, набитые сухим кормом экстра-класса и совершенно безучастные ко всем и ко всему на свете. Валяются себе на диванах, везде оставляют свою шерсть, и, кажется, никто в семье не понимает, что мы все им совершенно безразличны. Обычно кошек держат исключительно как живое украшение дома – аспект, весьма, на мой взгляд, любопытный, однако наших кошек с отвисшими до полу животами в таком качестве вряд ли можно рассматривать.

Моя мать, которая прочитала всего Бальзака и за каждым обедом цитирует Флобера, – наглядное доказательство того, что образование – вопиющее надувательство. Достаточно посмотреть, как она обращается с кошками. Она, конечно, смутно понимает, что кошки – часть декора, но упорно разговаривает с ними, как с людьми, между тем вряд ли ей пришло бы в голову беседовать с настольной лампой или этрусской статуэткой. Говорят, дети довольно долго верят, что все, способное двигаться, наделено душой и сознанием. Мама давно не девочка, и все-таки она никак не может уяснить, что у Конституции и Парламента разума не больше, чем у пылесоса. Допустим, между ними и этим бытовым предметом есть большая разница, и выражается она в том, что кошки способны испытывать удовольствие и боль. Но следует ли из этого, что они также способны общаться с людьми? Вовсе нет. Это означает только, что они, как хрупкие предметы, требуют осторожного обращения. Смешно слышать, как мама говорит: «Конституция – такая гордая и такая чувствительная кошечка!» – а та обожралась и лежит на диване кверху брюхом. Однако если поразмыслить над гипотезой о том, что кошка выступает в роли современного тотема, символического воплощения и хранителя домашнего очага, который в несколько смягченном виде отражает суть всех членов семейства, то все встает на свои места. Мама приписывает кошкам качества, которые хотела бы видеть в нас, но которых у нас нет как нет. Менее гордых и чувствительных созданий, чем троица Жоссов: папа, мама и Колумба, – на свете не сыщешь. Все они крайне вялые, заторможенные и бесчувственные.

В общем, на мой взгляд, кошка – современный тотем. Сколько бы ни произносили громких речей об эволюции, цивилизации и прочих «-ациях», человек не так уж далеко ушел от своих предков: он по-прежнему верит, что живет на свете не случайно и что его судьбой занимаются боги, по большей части благосклонные.

4. Отказавшись от борьбы

Я прочла столько книг...

Но, как все самоучки, всегда сомневаюсь, правильно ли их поняла. То мне представляется, что я могу окинуть взором всю громаду знаний и все, чего я нахваталась, сплетается в единый узор, в разветвленную сеть, то вдруг смысл исчезает, суть ускользает, и, сколько я ни перечитываю строчки, они только становятся все невнятнее, а я сама себе кажусь полоумной старухой, которая от корки до корки прочитала меню и думает, что у нее от этого наполнился желудок. Наверное, такое сочетание пронизательности и слепоты – специфика самоучек. Оно лишает их надежных вех, которые дает хорошее образование, зато наделяет способностью мыслить свободно, широко, тогда как дисциплинированный ум расставляет перегородки и не допускает вольностей.

И вот сегодня утром я растерянно сижу на кухне перед раскрытой книжкой. Происходит как раз то самое: я остро чувствую безумие затеи постичь все в одиночку и почти готова отступить, но что-то говорит мне, что я наконец-то нашла своего учителя.

Его зовут Гуссерль – ничего себе имечко, домашнего любимца или марку шоколада так не назовут, в нем слышится что-то по-прусски тяжеловесное. Но что из этого! Уж я-то, при моем опыте, научилась не придавать значения неблагозвучности мировой философии. И если вы все еще воображаете, что старость, уродство, вдовство и работа консьержки превратили меня в убогое создание, смилившееся со своей жалкой участью, то воображение у вас довольно скудное. Да, я забила в угол, отказавшись от борьбы. Но укрытый в надежном убежище ум не отступит ни перед каким вызовом. Хоть по имени, положению и внешности я полное ничтожество, но по ясности ума – всемогущая богиня.

А этот Эдмунд Гуссерль – для модели пылесоса, вот для чего, по моему соображению, подходит его имя – грозит сбросить меня с домашнего Олимпа, на котором я неизменно восседаю.

– Ничего-ничего, – подбадриваю я себя, – каждая задача имеет решение, верно?

Я обращаюсь за поддержкой к коту.

Но он, неблагодарный, не отвечает. Сlopал здоровенный ломоть паштета и знай себе благодушно полеживает в кресле.

– Ничего, ничего, ничего... – глупо бормочу я и снова озадаченно гляжу на маленькую книжонку.

«Картезианские размышления. Введение в феноменологию». Уже по одному названию и по первым страницам становится ясно: тому, кто не читал Декарта и Канта, не стоит приниматься за философа-феноменолога Гуссерля. Однако столь же быстро понимаешь, что знание Декарта и Канта не очень-то приближает к пониманию трансцендентальной феноменологии.

А жаль. К Канту, в силу многих причин, я питаю особое пристрастие: не только потому, что его учение – дивная смесь таланта, дисциплины и безумия, но еще и потому, что при всем аскетизме слога смысл того, что он пишет, всегда был для меня совершенно прозрачен. Трактаты Канта – великие книги, доказательство – то, что они успешно проходят тест-мирабель[6 - Вообще-то так называется во Франции бесплатный тест, с помощью которого телефонная станция проверяет исправность линии.].

Этот тест обезоруживающе прост и нагляден. Основан он на неоспоримой истине: когда откусываешь плод, приходит понимание. Чего? Да всего. Понимаешь весь долгий путь созревания человечества: на первых порах оно просто выживало, потом вкусило удовольствие, потом увлеклось погоней за ложными благами, отвращающей от исконной тяги к простому и высокому, погрязло в пустословии и, наконец, дошло до страшного, медленного, неизбежного угасания, но, несмотря на все это, достигло того чудного накала чувств, который открывает людям восторг и неотразимую красоту искусства.

Тест-мирабель проходит у меня на кухне. Я кладу на покрытый пластиком стол сливину и книгу, а потом одновременно беру в рот мирабель и открываю первую страницу. Если две мощных волны ощущений не разбивают друг друга: мирабель не портит впечатление от текста, а текст не отбивает вкус мирабели, – я понимаю, что передо мной что-то значительное и даже исключительное,

потому что произведений, которые не померкли бы, не стали смешными и пресными рядом с сочным взрывом золотистого шарика, совсем не много.

Но все мои познания в кантианстве не помогают разобраться в дебрях феноменологии, приходится признаться Льву:

– У меня кишка тонка!

Делать нечего. Придется пойти в библиотеку и поискать там что-нибудь, вводящее в курс дела. Я не люблю всяких комментариев и сокращенных изложений – они загоняют читателя в тесную академическую колею.

Но в данном случае не отвертись, слишком все серьезно. Феноменология мне не дается, но я ее одолею!

Глубокая мысль № 3

В нашем мире

Тот силен,

Кто ничего не делает,

А только

Треплет языком.

Такова моя глубокая мысль, но породила ее другая, и тоже глубокая. Ее высказал вчера за ужином один из папиных гостей. «Кто умеет что-то делать – делает, кто не умеет делать – учит других, кто не умеет учить – учит учителей, а кто и этого не умеет – занимается политикой», – сказал он. Все согласились с ним, но каждый из своих соображений. Коломба, большая специалистка по ложной самокритике, сказала: «Ах, как вы правы!» Она уверена, что знание – сила, а значит, больше ничего не требуется. Если я знаю, что принадлежу к самодовольной элите, которой плевать на всех остальных,

меня не в чем упрекнуть и мне же больше чести. Папа думает примерно так же, хоть он не такой болван, как моя сестрица. Он верит в существование так называемого долга; на мой взгляд, это фикция, но она его спасает от постыдного цинизма. Еще он свято верит в осмысленность мира, держится за школьные прописные истины, потому и ведет себя иначе. Девиз разочарованных недоумков: «Жизнь – шлюха, я больше ни во что не верю и буду развлекаться, пока не опротивеет!» Коломба из их числа. Она уже студентка, а все еще верит в Деда Мороза, и не по простоте душевной, а по жуткой инфантильности. Когда папин коллега произнес свой афоризм, она глупо ухмыльнулась: дескать, знаю-знаю, кругом сплошной бардак. И я лишний раз убедилась: моя сестра – законченная идиотка.

На мой-то взгляд, эта фраза – по-настоящему глубокая мысль, причем как раз потому, что сказанное – неправда, вернее, не совсем правда. Тут имеется в виду совсем не то, что кажется. Если бы выше всех по социальной лестнице поднимались самые некомпетентные, все бы, уж точно, давным-давно рассыпалось. Но не в этом дело. Смысл фразы не в том, что лучшие места достаются бездарям, а в том, что все в человеческом обществе страшно жестоко и несправедливо: в нашем мире правят не дела, а слова, и хорошо подвешенный язык считается главным талантом. Это ужасно, потому что мы по природе своей приматы, запрограммированные на то, чтобы есть, спать, размножаться, расширять и охранять свою территорию, а получается, что самых во всем этом сильных обставляют те, кто красиво говорит, но совершенно не способен защитить свой огород, подстрелить кролика на ужин или быть хорошим производителем. В нашем мире верховодят слабаки. Это извращение, надругательство над нашей животной природой и над логикой.

5. Злосчастное свойство

Целый месяц читала как ненормальная и наконец пришла к отрадному выводу, что феноменология гроша ломаного не стоит. У меня всегда захватывает дух, когда я гляжу на соборы: подумать только, что могут воздвигнуть люди во славу чего-то несуществующего! Точно так же изумляет мое воображение феноменология: надо же потратить столько мозгов на такую пустышку! К сожалению, у меня нет под рукой мирабели – на дворе ноябрь. Честно говоря, целых одиннадцать месяцев в году приходится использовать вместо нее горький (70 %) шоколад. Но я заранее знаю результат теста. Если б я не поленилась

впитаться зубами в пробную ягоду или плитку, а глазами – в дивную главу «Раскрытие финального смысла науки посредством погружения в нее как в нозматический феномен» или «Развертывание конститутивной проблематики самого трансцендентального его», то тут же, пронзенная до глубины души, рухнула бы в мягкое старомодное кресло, стала хлопать себя по ляжкам и могла бы умереть, захлебнувшись от восторга и от выступивших на губах мирабелевого сока или шоколадной жижи.

Если хочешь разобраться в феноменологии, важно помнить, что она сводится к двум вопросам: какова природа человеческого сознания и что мы знаем о мире.

Рассмотрим первый.

На протяжении многих веков люди выводили формулы вроде «познай самого себя» или «мыслю, значит, существую» и рассуждали, кто во что горазд, о ничтожной привилегии человека – способности осмысливать собственное бытие и делать самое себя объектом познания. Если человек ощущает зуд, он чешется и сознает, что вот он чешется. Спроси его кто-нибудь: что ты делаешь? – он ответит: чешусь. На вопрос второго порядка (сознаешь ли ты, что ты сознаешь, что чешешься?) ответит «да», как и на всю цепочку следующих «сознаешь ли ты...». Но уменьшится ли его зуд от знания того, что он чешется и сознает этот факт? Окажет ли рефлексия благотворное действие на силу зуда? Ничуть. В самом чесании ровным счетом ничего не меняется оттого, что я знаю, что у меня где-то чешется, и что я знаю, что знаю об этом. Наоборот, знание, проистекающее из нашего злосчастного свойства, лишь усложняет жизнь; готова спорить на десять фунтов мирабели: оно усугубляет то неприятное ощущение, от которого мой кот легко избавляется, хорошенько поработав лапой. Но люди превозносят это свойство, поскольку его нет ни у одной земной твари и оно, таким образом, отличает нас от других животных. В том, что мы способны понять, что понимаем, что чешемся, в этом даре разумения многие усматривают нечто божественное, освобождающее нас от холодного детерминизма, которому подчинен весь физический мир.

Вся феноменология и зиждется на убеждении, что наше самоосмысляющее сознание, признак божественной сущности, – это единственное, что стоит изучать, потому что оно спасает нас от биологического детерминизма.

И кажется, никто не замечает, что раз мы все равно являемся животными и все равно подчинены холодному детерминизму природы, то все остальное

совершенные пустяки.

6. Грубошерстная сутана

Перехожу ко второму вопросу: что мы знаем о мире?

На него отвечают идеалисты вроде Канта.

И что же они отвечают?

А вот что: знаем очень немного.

Согласно идеалистическим воззрениям, познаваемо лишь то, что воспринимает наше сознание, та самая полубожественная сущность, которая спасает нас от животного прозябания. Мы знаем о мире лишь то, что способно сказать о нем наше сознание, воспринимая то, что ему является.

Возьмем для примера симпатягу-кота по имени Лев. Почему именно его? По-моему, так будет легче объяснить. Так вот, скажите, как мы можем быть уверены, что это кот, и как вообще мы можем знать, что такое кот? Опираясь на здравый смысл, надо бы ответить, что к такому заключению пришли наши органы чувств, вкупе с логическим и лингвистическим аппаратом. Ну а ответ идеалиста совсем иной: он скажет, что нам не дано определить, насколько образ кота в нашем сознании и наше представление о нем соответствуют его глубинной сущности. Возможно, мой котище, которого я в данную минуту вижу как тушу с четырьмя лапами и дрожащими усами и который у меня в мозгу занесен в картотеку с пометкой «кот», на самом деле ком зеленой слизи и не думает мяукать. Но мои чувства так устроены, что я этого не воспринимаю, и противный скользкий комок не внушает мне омерзения, а предстает в моем сознании, которому я свято доверяю, пушистым прожорливым домашним любимцем.

Таков идеализм Канта. Мы знаем не мир, а идею о нем, какой ее вырабатывает наше сознание. Но есть и более ужасная теория, чреватая вещами похуже, чем мысль о том, что вы, сами того не подозревая, нежно гладите кусок зеленого

студня или засовываете по утрам кусочки хлеба в пупырчатый зев, который принимаете за тостер.

Есть идеализм Эдмунда Гуссерля. Он мне напоминает особую грубошерстную сутану, которую носят священники какой-то секты, отколовшейся от баптистской церкви.

Согласно этой теории, существует лишь представление о коте. А сам кот? Какой еще кот? Обойдемся без него. Кому и на что он нужен? Отныне философия позволяет себе порочную роскошь резвиться исключительно в сфере чистого разума. Окружающий мир – недостижимая реальность, нечего и тщиться ее познать. Что знаем мы о мире? Ничего. Раз любое знание есть не что иное, как самоистолкование рефлекслирующего сознания, то внешний мир можно послать ко всем чертям.

Это и есть феноменология – «познание того, что является сознанию». Как проходит день феноменолога? Он встает, сознает, что намыливает и поливает душем тело, существование которого никак нельзя обосновать, что жует и глотает бутерброды из ничего, что надевает одежду, похожую на пустые скобки, что идет к себе в кабинет и там рассматривает феномен кота.

Ему все равно, есть этот кот на самом деле или нет и что представляет собой его сущность. Недоказуемое его не волнует. Зато есть нечто непроверяемое: его сознанию дан кот, и наш философ постигает эту данность.

Весьма, надо сказать, сложную данность. Диву даешься, до чего подробно разбирается механизм восприятия сознанием вещи, истинное существование которой ему безразлично. Известно ли вам, что наше сознание не воспринимает все чохом, а производит многоступенчатый синтез и посредством последовательных операций представляет нашим чувствам различные предметы: хоть кот, хоть веник, хоть мухобойку; другое дело, есть ли от этого польза. Попробуйте-ка посмотреть на своего кота и подумать, как получается, что вы знаете, каков он спереди и сзади, сверху и снизу, если в данный момент видите его только анфас. Для этого ваше сознание, без вашего ведома, сопоставило множество кошачьих изображений во всех возможных ракурсах и в конце концов создало цельный образ, которого сиюминутное зрение никогда бы вам не предоставило. Точно так же все обстоит с мухобойкой: вы видите ее всегда с одной и той же стороны, но разум может дать о ней полное представление, и, о чудо, вы, не переверачивая данное орудие, знаете, как оно

выглядит с другой стороны.

Это знание, несомненно, очень важно. Трудно вообразить, чтоб Мануэла взмахнула мухобойкой, не мобилизовав предварительно все свое знание о разных ракурсах, необходимых для полноценного восприятия. Ну, правда, вообразить, чтоб Мануэла взмахнула мухобойкой, трудно и без того, по той простой причине, что в богатых домах не бывает мух. Ни мух, ни заразы, ни вонь, ни семейных тайн. У богачей всегда все чисто, гладко, гигиенично, и, значит, им нечего бояться, что на них обрушатся мухобойки или общественное порицание.

Словом, вся феноменология – это нескончаемый монолог одинокого сознания, обращенный к самому себе, чистейший аутизм, сквозь который не пробиться ни одному коту.

7. Барышни-южанки

– Что вы читаете? – спросила Мануэла, отдуваясь.

Сегодня она отработала у мадам де Брольи, которая готовится к званому ужину и по этому случаю сама совсем запыхалась. Ей доставили семь банок черной икры, так она, принимая их, пыхла, как Дарт Вейдер.

– Сборник народной поэзии, – ответила я и захлопнула Гуссерля, раз и навсегда.

У Мануэлы, я вижу, хорошее настроение. Она весело распаковала корзиночку, полную миндальных кексов в фестончатых бумажках, в которых они и пеклись, села за стол и старательно разгладила ладонью скатерть – ей явно не терпелось что-то рассказать.

Я достала чашки, тоже села и приготовилась слушать.

– Мадам де Брольи забрала трюфели, – начала Мануэла.

– Да ну? – вежливо удивилась я.

– Они не пахнут! – произнесла она трагическим голосом, как будто этот факт был для нее ужасным личным оскорблением.

Мы посмеялись от души над страшным бедствием, и я с удовольствием представила себе, как несчастная, растрепанная мадам де Брольи старается, сбрызгивает на кухне преступные трюфели свежим отваром из белых и лисичек, в отчаянной надежде придать им хоть какой-то лесной аромат.

– А Нептун написал на ногу месье Бадуазу, – продолжала Мануэла. – Бедная собака терпела уже сколько часов, а когда хозяин взял поводок, не выдержала – пустила струйку прямо в прихожей и замочила ему брюки.

Нептуну зовут кокер-спаниеля жильцов из квартиры на четвертом этаже справа. По две квартиры у нас только на третьем и четвертом, на остальных – всего по одной. Второй этаж занимают де Брольи, пятый – Артансы, шестой – Жоссы, седьмой – Пальеры. На третьем живут Мериссы и Розены.

А на четвертом – Сен-Нисы и Бадуазы. Нептун принадлежит Бадуазам, вернее, мадемуазель Бадуаз, которая учится в университете на юрфаке и устраивает собачьи бега вместе с владельцами других кокеров, тоже студентами юрфака.

Мне Нептун ужасно нравится. Мы испытываем друг к другу взаимную симпатию, наверное, потому, что мы с ним родственные души и каждый без труда понимает другого. Нептун чувствует, что я его люблю, а я легко читаю все его желания. Самое любопытное, что хозяйка хочет видеть его джентльменом, а он упорно остается псом. Каждый раз, когда Нептун выбегает во двор, натягивая прочный кожаный поводок, он с вожделием смотрит на непросохшие грязные лужи. Хозяйка повелительно потянет его за ошейник – а он упрется, прижмется задом к земле, да еще и примется бесстыдно облизывать свои причиндалы. Увидит Афины, потешную уипетку Мериссов, – вывалит слюнявый язык, как похотливый сатир, и аж поскуливает – ясно, какие картинки ему мерещатся. Забавнее всего у кокеров их походочка враскачку, когда они в игривом настроении: как будто под лапками вмонтированы пружинки, которые подбрасывают их вверх, но очень мелкими толчками. От этого лапки и ушки взлетают и ныряют, как кораблик на волнах; славное суденышко-кокер, плывущее посуху, вносит в городскую среду отрадный для меня морской штрих.

Еще Нептун – жуткий обжора, готовый продать душу за редисочный хвост или хлебную корку. Когда они с хозяйкой проходят мимо мусорных баков,

он рвется туда со страшной силой, высунув язык и трепеща хвостом. Диану Бадуаэ это приводит в отчаяние. Она, утонченная душа, полагает, что ее собачка должна быть похожа на благопристойных американских барышень-южанок времен Конфедерации: те для привлечения женихов должны были прикидываться, будто никогда не бывают голодными.

Ну а Нептун ведет себя как прожорливый янки.

Дневник всемирного движения

Запись № 2

Кокер и Бэкон.

У нас в доме живут две собаки: уипетка Мериссов, похожая на обтянутый сухой шкурой песочного цвета скелет, и рыжий кокер-спаниель, принадлежащий Диане Бадуаэ, дочери супер-пупер-адвоката, анорексичной блондинки, которая носит английские плащи от Барберри. Уипетку зовут Афина, кокера – Нептун. Для тех, кто еще не понял, где я живу: у нас – никаких Кики или там Рексов. Так вот, вчера обе собаки встретились в холле, и я имела случай наблюдать любопытный балет. Я говорю не о собаках, которые, понятно, сразу же обнюхали друг друга под хвостом. Нептун, похоже, не слишком душистый – Афина так и отскочила от него, зато у него самого сделался такой вид, как будто он вдохнул аромат розового букета, в который запрятан хороший кровавый бифштекс.

Но нет, я о хозяйках на другом конце поводков. Ведь в городе именно собаки водят хозяев на поводке, а не наоборот, просто об этом как-то никто не задумывается, но раз ты добровольно обременил себя собакой, которую надо два раза в день прогуливать – не важно, снег ли, ветер или дождь, – то это все равно как если бы ты сам надел себе на шею поводок. В общем, Диана Бадуаэ и Анн-Элен Мерисс (та же модель, но на двадцать пять лет старше) встретились в холле на первом этаже, каждая при своем поводке. И, как всегда в таких случаях, началась катавасия. Обе дамы поворачиваются так неуклюже, как будто у каждой на руках и на ногах надеты ласты, а все потому,

что не в состоянии сделать единственно необходимое: признать, что происходит то, что происходит, и прекратить это. Но дамы делают вид, что их питомцы – благородные плюшевые песики, без всяких неприличных порывов, и не могут крикнуть им «фу!», чтоб они перестали обнюхивать друг другу задницы и облизывать яички.

Произошло все так: Диана Бадуаз с Нептуном выходила из лифта, а Анн-Элен Мерисс с Афиной как раз стояла и ждала его внизу. Словом, они буквально напустили собак друг на друга, и уж те, понятно, не растерялись. Нептун прямо взбесился. Не каждый день такое счастье: шагнуть из лифта и уткнуться мордой в зад Афины. Коломба прожужжала нам все уши своим «кайросом» – по-гречески это примерно значит «миг удачи», то, что, как она считает, умел ловить Наполеон, – как же, моя сестрица – большой знаток стратегии! Чутье на нужный момент – вот что такое этот кайрос. Так вот, почуяв кайрос прямо перед носом, Нептун его не упустил и лихо, как гусар былых времен, наскочил на красотку. «О боже!» – застонала Анн-Элен, как будто бы сама подверглась надругательству. «О нет!» – воскликнула Диана, как будто весь позор ложился на нее, тогда как, спорим на шоколадку, ей в жизни не пришлось бы в голову наскокивать с тыла на Афины. Они одновременно принялись растаскивать собак за поводки – в ходе этой операции и произошло необычайное движение.

Видимо, Диана дернула вверх, а Анн-Элен вниз, но, вместо того чтобы разъединиться, собаки поехали вбок и очень скоро врезались: одна в решетку лифта, другая в стенку. Потерявший было равновесие Нептун очень быстро очухался и еще крепче прицепился к Афине, она же визжала, выпучив глаза. Тогда двуногие решили изменить тактику и выволочь парочку туда, где посвободнее. Но времени на маневры не оставалось: наступила та фаза, когда, как всем известно, собаки склеиваются намертво. Обе хозяйки взвыли, как сирены: «Боже мой – боже мой!» – и стали тянуть за поводки с такой силой, будто им самим грозило бесчестье. В спешке Диана Бадуаз поскользнулась и подвернула ногу. И вот оно – то самое движение: нога подкосилась, за ней в ту же сторону накренилось все тело, а волосы, забранные в конский хвост, метнулись в другую.

Честное слово, это было здорово! Прямо картинка Бэкона[7 - Имеется в виду ирландский художник-экспрессионист Фрэнсис Бэкон (1909–1992)]. У нас дома в родительском туалете сто лет висит одна такая в рамке, на ней как раз изображен кто-то раскоряченный на унитазах, ну, как всегда у Бэкона: кровавая плоть тошнотворного вида. Мне всегда казалось, что такое должно мешать

нормальному физиологическому процессу, впрочем, это не мое дело, в нашем доме у каждого свой персональный клозет, так что на здоровье. Но когда Диана Бадуаз оступилась и все у нее: руки, ноги, голова – пошло дикими зигзагами, а сверху отчеркнулось горизонтально вытянувшимся хвостом, мне сразу вспомнился Бэкон. На какую-то долю секунды (все произошло очень быстро, но поскольку я теперь особенно внимательна ко всякому движению, то и это проследила, как при замедленной съемке) Диана уподобилась раздерганной марионетке, получилась телесная какофония, – ну, точь-в-точь бэконовская фигура. Как было не подумать, что картинка в туалете затем и провисела невесть сколько, чтоб я не упустила вот этот несравненный момент. Потом Диана упала прямо на собак, и все уладилось само собой: придавленная Афина отлепилась от Нептуна. Последовал сложный балетный этюд: Анн-Элен хотела помочь Диане встать и одновременно пыталась удерживать свою питомицу подальше от насильника, а Нептун, равнодушный к страданиям и воплям хозяйки, рвался к вождеденному букету с биф?штексом. На счастье, мадам Мишель вышла из привратничкой, а я перехватила поводок Нептуна и оттащила его в сторону.

Бедняга был ужасно разочарован. Он уселся на пол и, громко хлюпая, стал вылизывать себе яички, чем прямо-таки доконал несчастную хозяйку. Лодыжка Дианы раздулась в небольшой арбуз, мадам Мишель вызвала ей «скорую» и повела Нептуна домой, а Анн-Элен Мерисс осталась с пострадавшей. Я же пошла домой, раздумывая, стоила ли возможность увидеть сцену из Бэкона в реальной жизни всех издержек.

И решила, что нет: мало того что Нептуну не досталось лакомства, но он еще и прогулки лишился.

8. Предтеча молодой элиты

Сегодня утром, слушая радио «Франс-Интер», я с удивлением узнала, что я совсем не то, чем всегда себя считала. До сих пор я объясняла свою культурную всеядность тем, что я самоучка из простонародья. Как я уже говорила, каждую свободную от работы минуту я посвящаю тому, чтобы читать книжки, смотреть фильмы и слушать музыку. Словом, жадно пожираю все, что относится к культуре, однако прожорливость эта, на мой взгляд, плоха тем, что я

поглощаю все без разбора: как вещи стоящие, так и всякую дребедень.

В чтении я все же более разборчива, хотя круг моих интересов необычайно широк. Я прочитала кучу книг по истории, философии, политэкономии, социологии, психологии, педагогике, психоанализу, ну а больше всего, конечно, художественной литературы.

Она – вся моя жизнь, все остальное – просто любопытства ради. Кота я назвала Львом в честь Льва Толстого. Предыдущий носил имя Донго – читай Фабрицио дель... А самый первый – Каренин – из «Анны Карениной», хотя звала я его просто Каре из страха, как бы меня не разоблачили. Главное мое пристрастие – русская словесность до 1910 года, я ей неизменно верна (единственная любовь на стороне – Стендаль), однако же успела и от всей мировой литературы отхватить весьма, на мой взгляд, приличный кус, тем более для такой деревенщины, как я, которая сделала головокружительную карьеру, утвердившись в привратницкой дома номер семь по улице Гренель, и которой сам бог велел упиваться Барбарой Картленд. Я, правда, питаю грешную слабость к детективам, но выбираю только те, которые можно причислить к высокой литературе. И до чего же бывает досадно, когда приходится отрываться от романа Коннелли или Манкелля и выходить на звонок Бернара Грелье или Сабины Пальер, бесконечно далеких от умозрений сыщика Гарри Боша, любителя рок-группы LAPD, особенно когда они спрашивают что-нибудь вроде:

– А что это помойкой воняет на весь двор?

То, что они оба: и Бернар Грелье, и наследница старинного рода банкиров – способны обращать внимание на такие вещи и пренебрегать нормой литературного языка, позволяющей заменять вопросительное местоимение «почему», категориально соотносимое с наречием, местоимением «что», соотносимым с именами существительными, лишь в просторечии, заставляет иначе взглянуть на человеческий род.

Напротив, в том, что касается кино, эклектичность моя цветет пышным цветом. Мне нравятся и американские блокбастеры, и авторские фильмы. Долгое время я потребляла преимущественно продукцию американской и английской индустрии развлечений, если не считать нескольких серьезных лент, которые мне, с моей тягой к красоте, сильным страстям и соперничеству, доставляли такое удовольствие, что я и их причисляла к сугубо развлекательным. Гринуэй вызывает у меня интерес, восхищение и зевоту, зато я истекаю слезами,

как пончик жиром, когда Мели и Мэмми идут по лестнице в доме Батлеров после смерти Бонни Блю, а «Бегущего по лезвию» считаю шедевром развлекательного кино высшего класса. Очень долго я так и думала: что седьмое искусство непременно бывает могучим, прекрасным и нагоняющим сон, а киноширпотреб – пустым, забавным и берущим за душу.

Вот и сегодня я дрожу от нетерпения – скорее бы приняться за подарок, который я сама же себе и приготовила. Это награда за стойкое терпение, исполнение давнего, очень давнего желания снова посмотреть фильм, который в первый раз я видела незадолго до Рождества 1989 года.

9. «Красный Октябрь»

Под Рождество 1989 года Люсьен был очень болен. Мы не знали точно, когда наступит смерть, но уверенность в том, что она близка, сковывала каждого из нас по рукам и ногам и невидимыми узами привязывала друг к другу. Когда в доме поселяется недуг, он не только завладевает телом больного, но и оплетает сердца всех членов семейства мрачной, душащей всякую надежду паутиной. Болезнь, как липкая паучья нить, парализовывала каждую мысль, каждый вздох и день за днем пожирала нашу жизнь. Когда я возвращалась откуда-нибудь домой, то словно попадала в погреб, мне все время было холодно, и я никак не могла согреться, а в последнее время стало казаться, что ночью, когда я спала рядом с Люсьеном, его тело высасывало из меня все тепло, которое я впитала, выходя одна во внешний мир.

Болезнь определили весной 1988?го, она точила его полтора года и унесла накануне Рождества. Старая мадам Мерисс организовала сбор денег среди жильцов, и мне принесли красивый венок, обвитый лентой без надписи. На похоронах он был единственным. Мадам Мерисс была набожной, холодной и надменной, но что-то искреннее пробивалось сквозь ее суровость и даже некоторую резкость; она умерла через год после Люсьена, и тогда я поняла, что это была хорошая женщина и, хоть за пятнадцать лет мы с ней не сказали друг другу и нескольких слов, мне будет ее не хватать.

– Она отравила жизнь своей невестке. Святая была женщина, царствие ей небесное, – сказала вместо надгробного слова Мануэла, испытывавшая к мадам

Мерисс-младшей ненависть поистине расиновской силы.

Никого, кроме Корнелии Мерисс, с ее вуалетками и четками, болезнь Люсьена никак не озаботила. По мнению богатых, простолюдины всю жизнь живут в такой разреженной, так мало насыщенной кислородом денег и светского общения атмосфере, что у них ослаблены нормальные человеческие эмоции и они все воспринимают притупленно-безразлично. А значит, мы, консьерж с консьержкой, воспринимаем смерть как нечто обыденное, входящее в порядок вещей, тогда как для них, состоятельных людей, это была бы трагедия, кошмарная несправедливость. Не стало консьержа, что ж, небольшая заминка в потоке повседневности, но таков закон природы, ничего страшного; владельцы квартир привыкли каждый день видеть Люсьена на лестнице или на пороге привратницкой, но он для них был никем и ничем – и вот это ничто вернулось в небытие, где в общем-то всегда и пребывало, – животным, которое жило лишь наполовину, не зная комфорта и роскоши, а потому должно было, и умирая, страдать лишь наполовину. А что мы, как все другие человеческие существа, можем невыразимо мучиться, что по мере того, как болезнь уничтожает все, из чего состоит наша жизнь, нас распирает протест, и мы терзаем себя сами и корчимся от ужаса и страха перед смертью, – да им и в голову такое не придет.

Как-то утром, недели за три до Рождества, я вернулась из магазинов с полной сумкой редиски и кошачьего паштета и застала Люсьена одетым по-уличному. Он даже шарф завязал и стоял готовый к выходу, поджидая меня. Я чуть не свалилась в обморок: еще бы, столько времени смотреть, как муж, шатаясь, еле-еле преодолевает путь от комнаты до кухни и падает на стул без сил, белый как полотно, свыкнуться с тем, что он добрый месяц не вылезает из пижамы, наводящей на мысль о костюме покойника, и вдруг увидеть его стоящим в пальто с поднятым воротником, бодрым, с озорным блеском в глазах и совсем уж невероятным румянцем на щеках.

– Люсьен! – закричала я и рванулась было его поддержать, усадить, раздеть и прочее, – раньше я ничего такого никогда не делала, зато за последнее время, кажется, разучилась делать что-нибудь еще, – собиралась бросить сумку и подхватить его, прижать к себе, поднять... но вдруг остановилась, у меня перехватило горло, как-то странно расширилась грудь.

– Ты как раз вовремя, – сказал Люсьен, – сеанс ровно через час.

В зале было жарко, я чуть не плакала и была счастлива, как никогда в жизни, в первый раз за долгие месяцы я сжимала теплую руку Люсьена. Я понимала, что он внезапно ощутил прилив сил, который позволил ему встать, пробудил в нем желание выйти из дома и еще раз разделить со мной удовольствие от нашего любимого семейного занятия; понимала также, что у нас осталось совсем мало времени, что это блаженное состояние – признак близкого конца, но не думала об этом, а хотела только радоваться этому просвету, этим вырванным у болезни мгновениям, теплу его руки и волнам восторга, одновременно захлестывавшим нас, потому что – еще один подарок судьбы – показывали фильм, который пришелся по вкусу нам обоим.

Я думаю, Люсьен умер сразу после этого. Тело его протянуло еще три недели, но душа отлетела к концу того сеанса – он чувствовал, что так лучше, попрощался со мной там, в темном зале, не терзая себя и меня; того, что мы сказали друг другу без слов, вместе глядя на светящийся экран и следя за действием, было довольно, чтобы он обрел покой.

Что ж, я это приняла.

Фильм «Охота за „Красным Октябрем“» заменил нам последнюю ночь любви. Посмотришь его – и больше ничего не надо, чтобы понять искусство построения сюжета. Зачем, спрашивается, объясняя студентам в университете, что такое нарративные принципы, их пичкают Проппом, Греймасом и другими премудростями, вместо того чтобы обзавестись кинозалом. Не надо никаких завязок, интриг, актантов, перипетий, поисков, героев и прочих вспомогательных средств – хватит одного Шона Коннери в форме русского подводника да парочки удачно вставленных авианосцев.

Так вот, в тот день я услышала по «Франс-Интер», что мешанина из моих устремлений к высокому искусству и пристрастий к низкому вовсе не позорное клеймо моего неаристократического происхождения и бессистемного блуждания в поисках света знаний, а характерное свойство современных продвинутых интеллектуалов. От кого услышала? От одного социолога, с которым страшно хотела бы познакомиться, если бы ему самому было страшно приятно услышать, что некая консьержка в теплых тапочках готова молиться на него, как на икону. Говоря об эволюции культурной практики высокообразованных людей, которые прежде с утра до ночи покоряли вершины духа, а теперь превратились в черные

дыры синкретизма, так что граница между подлинным искусством и подделкой оказалась безнадежно размытой, он описал некоего доктора классической филологии, который раньше слушал Баха, читал Мориака и смотрел высокохудожественное и экспериментальное кино, а сегодня слушает Генделя и MC Solaar, читает Флобера и Джона Ле Карре, идет смотреть Висконти и последнего Die Hard и ест на обед гамбургеры, а на ужин сашими.

Когда то, что ты считал своей отличительной чертой, вдруг оказывается типичным для целой социальной группы, это всегда ошеломляет. А в чем-то и оскорбляет. Чтобы я, Рене, пятидесятичетырехлетняя консьержка, самоучка, несмотря на затворничество, которое должно было оградить меня от пороков толпы, и на брезгливый вакуум, который окружает меня и держит в отдалении от веяний большого мира, – чтобы я, Рене, стала частью того же процесса, который затрагивает молодую элиту, состоящую из таких, как юный Пальер, – студентов престижных вузов, которые читают Маркса и топают всей тусовкой смотреть «Терминатора», или как мадемуазель Бадуаз – девиц, изучающих право в университете и рыдающих над страданиями героев «Ноттинг-Хилл», – такое трудно переварить. И ведь простая хронология подтвердит, что я не подражаю этим юнцам в эклектических вкусах, а, наоборот, опередила их.

Рене – предтеча молодой элиты.

– А что, может, и так, – проворчала я и вытащила из сумки кусок телячьей печени для кота, а затем осторожно извлекла два кусочка филе барабульки – завернутых для конспирации в несколько слоев полиэтилена, – которые собиралась поджарить, замариновав их предварительно в лимонном соке с кориандром.

И тут нахлынули события.

Глубокая мысль № 4

Растения

Дети

Уход

Убирается у нас приходящая прислуга – по три часа ежедневно, но за цветами мама ухаживает сама. Надо видеть этот цирк! По утрам она берет две леечки – с жидким удобрением и с декальцинированной водой – и пульверизатор с несколькими режимами орошения: «струя», «дождевание», «распыление». И обходит все двадцать имеющихся в квартире растений, подвергая каждое индивидуальной обработке. При этом она постоянно что-то бормочет и становится совершенно глухой ко всему на свете. Когда мама возится со своими цветами, можете говорить ей что угодно, она не обратит на это ни малейшего внимания. Вы ей, например: «Буду сегодня колоться и устрою передоз», а она вам на это: «Ай-ай-ай, у кентии желтеют кончики листьев, наверное, воды многовато...»

Из сказанного уже можно кое-что вывести: если хочешь превратиться в инвалида, не слышащего, что ему говорят окружающие, займись комнатным цветоводством. Но это еще не все. Когда мама опрыскивает зеленые листочки водой, на лице ее загорается надежда. Она думает, что питает растение чем-то вроде целительного бальзама, который даст ему все, что нужно, чтобы оно расцвело и окрепло. То же самое, когда она втыкает в землю (точнее, в смесь земли, перегноя, песка и торфа в разных пропорциях, которую она заказывает в специальном магазине у Порт-д’Отей) удобрения в виде маленьких палочек. То есть мама вскармливает растения так же, как вскармливала детей: для кентии вода и удобрения, для нас зеленая фасоль и витамин С. Вот где главный вывод: сосредоточьтесь на некотором объекте и снабжайте его питательными веществами, которые, проникая внутрь извне, по мере усвоения заставят его расти и правильно развиваться. Стоит пшикнуть на листья – и растение обеспечено всем необходимым для жизни. Вы смотрите на него с надеждой и не без тревоги, понимаете, что все живое хрупко, беспокоитесь, как бы с ним чего не случилось, но в то же время вас греет приятное чувство выполненного долга: вы сделали все, что нужно, добросовестно выполнили роль кормильца, и можно на какое-то время успокоиться – теперь все в порядке. Это мамин кодекс поведения, жизнь для нее – череда ритуальных действий, пусть столь же бесполезных, как пшиканье пульверизатора, зато дающих временную иллюзию того, что все в порядке.

Насколько было бы лучше, если бы мы вместе переживали свою незащищенность, вместе действовали изнутри и понимали, что зеленая фасоль и витамин С хотя и питают плоть, но не спасают и не насыщают душу.

10. Назвать кота Гревиссом

В дверь привратницкой позвонил Шабро.

Шабро – личный врач Пьера Артанса. Этот постаревший красавчик со смуглым, словно вечно загорелым лицом, извивается перед своим хозяином, как какой-нибудь земляной червяк, со мной же за двадцать лет ни разу не поздоровался и, кажется, вообще не сознает, что я существую. К вопросу о феноменологии: вот интересно было бы исследовать, почему тот или иной образ сознанию одних людей является, а сознанию других – нет. Мой, например, – поразительное дело! – в голове Нептуна держится, а из головы Шабро выпадает.

Но сегодня утром даже загар его, похоже, побледнел. Щеки обвисли, руки дрожат, а нос... нос подтекает. Да-да, у Шабро, врача богатеев, на носу капля. Вдобавок он назвал меня по имени:

– Мадам Мишель!

Может, это не Шабро, а инопланетянин-трансформер, которого подвела справочная служба: настоящий Шабро не засоряет себе мозги информацией о мелких людишках – у них и имен-то заведомо нет.

– Мадам Мишель, – повторяет неудачная копия Шабро, – мадам Мишель!

Что ж, меня действительно так зовут.

– Случилось страшное несчастье, – продолжает Мокрый Нос и, провалиться мне на этом месте, не сморкается, а втягивает каплю внутрь.

Вот это да! Шумно хлюпнув, он отправляет выделения из одной полости в другую, где им совсем не место, и я со смятением смотрю, как стремительно это проделано и как судорожно дергается его адамово яблоко, чтоб не подавиться известно чем. Противно, а главное, невероятно!

Бросаю взгляд по сторонам. В вестибюле ни души. Если мой инопланетянин имеет враждебные намерения, я пропала.

– Страшное, страшное несчастье, – опять повторяет он, прочистив горло. – Месье Артанс при смерти.

– Как? То есть правда умирает?

– Умирает, мадам Мишель, буквально при смерти. И двух дней не протянет.

– Но я же видела его еще вчера утром, он был совершенно здоров! – ошеломленно бормочу я.

– Увы, мадам, увы! Так и бывает, когда отказывает сердце: раз – и всё. Утром вы скачете, как козочка, а вечером лежите в гробу.

– И он умрет дома, его не отвезут в больницу?

– О-о-ох, мадам Мишель, – протяжно говорит он и смотрит мне в глаза печально, как Нептун на поводке, – кому же хочется умирать в больнице?

Первый раз за двадцать лет во мне шевелится что-то вроде симпатии к Шабро. Он ведь тоже человек, думаю я, а все мы, люди, устроены одинаково.

– Мадам Мишель! – Опять! Этот поток «мадам-мишелей» после двадцатилетней суши меня оглушил. – Вероятно, будет много желающих проведать мэтра Артанса, до того как... Но он никого не хочет видеть. Никого, кроме Поля. Не могли бы вы оградить его от нежелательных визитеров?

Противоречивые чувства раздирают меня. Конечно, я вижу, что меня, как всегда, начинают замечать только тогда, когда хотят дать мне поручение. Но ведь выполнять их – моя обязанность. И Шабро подкупил меня своей манерой выражаться: «Не могли бы вы оградить его от нежелательных визитеров?» – я так и растаяла. Какая изысканная учтивость! Я рабыня грамматики, подумала я, и своего кота должна бы назвать Гревиссом. Пожухший красавец Шабро мне неприятен, но речь его восхитительна. «Кому же хочется умирать в больнице?» – спросил он. Никому. Ни Пьеру Артансу, ни Шабро, ни Люсьену, ни мне. Этим

простым вопросом Шабро всех нас уравнил.

– Я сделаю все возможное, – сказала я. – Но не могу же я гнаться за ними по лестнице.

– Нет, конечно, но вы можете их отговорить. Скажите, что мэтр никого не пускает.

Шабро посмотрел на меня как-то странно.

Надо быть осторожной, очень осторожной. А я в последнее время потеряла бдительность. Взять хоть тот случай с молодым Пальером, когда я как последняя дура сболтнула что-то про «Немецкую идеологию». Не будь он глупее устрицы, эта оговорка могла бы навести его на кое-какие подозрения. И вот я снова забываюсь и млею перед каким-то прожаренным на ультрафиолете старым пнем лишь потому, что он так старомодно и витиевато изъясняется.

Стараюсь погасить живинку в глазах и изобразить стеклянный взгляд консьержки, готовой сделать все, что может, но все-таки по лестнице за людьми не гоняться.

Настороженность Шабро исчезла.

А чтобы и следа от моей промашки не осталось, подбрасываю просторечья:

– Никак, инфарк его хватил?

– Да, – говорит Шабро, – инфаркт.

Мы помолчали.

– Спасибо вам, – сказал доктор.

– Не за что, – ответила я и закрыла дверь.

Глубокая мысль № 5

Жить

Как все –

Армейская служба.

Этой глубокой мыслью я горжусь. А подсказала мне ее Коломба. В кои-то веки и сестрица на что-то пригодилась. Вот уж не думала, что скажу такое перед смертью.

У нас с Коломбой вечная война; для нее вообще вся жизнь – нескончаемая битва, в которой надо одержать победу, уничтожив других. Она не может чувствовать себя спокойно, пока противник не разбит и не оттеснен на жалкий клочок земли. Мир, где есть место для других, по мнению этой бездарной вояки, опасен. И в то же время другие ей совершенно необходимы: кто же иначе признает ее силу! Поэтому ей мало день и ночь пытаться раздавить меня всеми возможными способами, она еще и добивается с ножом к горлу, чтоб я признала, что она лучше всех и я ее люблю. От всего этого сойдешь с ума! А тут еще, на мое несчастье, Коломба, у которой проницательности ни на грош, каким-то образом узнала, что больше всего на свете я ненавижу шум. Наверное, по чистой случайности. Самой ей ни за что и в голову бы не пришло, что кто-то может нуждаться в тишине. Вряд ли она способна понять, что тишина помогает погрузиться в себя, что она необходима тем, кого интересует не только внешняя сторона жизни, – ведь ее собственный внутренний мир – сплошной шум и хаос, как улица в час пик. Так или иначе, но теперь она знает, что я люблю тишину, а мы с ней, к сожалению, живем в соседних комнатах. И вот она целыми днями шумит и грохочет. Орет в телефон, запускает музыку на всю катушку (а это меня просто убивает), хлопает дверью, громко комментирует каждое свое действие, включая такие важные вещи, как причесывание или поиски карандаша в ящике стола. В общем, поскольку потеснить меня по-другому не получается – ведь залезть мне в душу сестрица не может, – она затеяла эту звуковую интервенцию и с утра до ночи отравляет мне жизнь. Заметьте, чтобы додуматься до такой тактики, надо иметь самое примитивное представление о жизненном пространстве; мне-то совершенно не важно, где я нахожусь, раз я свободна мысленно перенестись куда угодно. Для Коломбы это непостижимо, зато она

придумала целую теорию: «Моя сестра – зануда, вредина и неврастеничка, она ненавидит всех вокруг и предпочла бы жить на кладбище среди покойников. Другое дело я – натура открытая, полная жизни и радости». Если уж я действительно что-то ненавижу, так это когда люди возводят свои дефекты или мании в принципы. Коломба – как раз такой случай.

Словом, худшей сестры не найдется во всем мире. А в последнее время у нее, как назло, появились еще и другие, крайне неприятные замашки. Мало мне было жить бок о бок с агрессивной стервой, так еще изволь терпеть ее мелкие пунктики. В последние месяцы Коломба помешалась на чистоте и порядке. И я в ее глазах стала не только зомби, но еще и неряхой. Она без конца на меня кричит: то я накрошила на кухне, то в ванной после меня остался волосок. Раньше у нее в комнате был дикий бардак, теперь там полная стерильность: все по линейке, нигде ни пылинки, у каждой вещи свое место, и не дай бог мадам Гремон во время уборки что-то положит не туда. Какой-то дурдом. Мне, в общем-то, не было бы до всего этого особого дела: спятила Коломба, ну и ладно. Но меня бесит, что при этом она продолжает изображать из себя клевою девчонку. Коломба явно не в себе, но никто не желает этого замечать, и она по-прежнему считает, что, в отличие от меня, подходит к жизни «по-эпикурейски». Но, честное слово, нет ничего эпикурейского в том, чтобы по три раза в день принимать душ и поднимать скандал из-за того, что лампу на ночном столике сдвинули на три сантиметра.

Что вдруг случилось с Коломбой? Не имею представления. Возможно, ей так хотелось всех подавлять, что в конце концов она превратилась в солдата. В буквальном смысле слова. И знай все драит, чистит, строит, как в армии. Солдат, он тоже всегда одержим чистотой и порядком. Ему это нужно, чтобы бороться с хаосом побоищ, грязью войны и месивом из человеческой плоти, которое она оставляет за собой. Но что, если случай Коломбы – всего лишь доведенная до абсурда норма? Разве все мы не тянем жизненную лямку, как солдат свою службу? Занимаясь чем придется и дожидаясь, пока не пошлют в бой или не выйдет срок. Одни наводят блеск в казарме, другие филонят, убивают время за картами, сплетнями и мелкими махинациями. Офицеры отдают команды, солдатиками выполняют, но ни для кого не секрет, чем закончится этот междусобойчик: в один прекрасный день всех пошлют умирать, солдат и офицеров, тупиц и пройдох, которые загоняют налево сигареты и туалетную бумагу.

Хотите, я быстренько построю психологическую гипотезу? У Коломбы внутри хаос, там одновременно пустота и завалы, и вот она пытается навести порядок, все в самой себе разобрать и почистить. Ну как? Я уже давно поняла: психологи – просто чудаки, считающие, что обычная метафора – это бог весть какая премудрость. На самом деле такие штуки доступны любому школьнику. Но слышали бы вы, как разглагольствуют по поводу самой пустяковой игры слов мамыны приятели-психологи и как ахают мамыны идиотки-подружки, которым она расписывает каждый свой сеанс психоанализа, будто путешествие в Диснейленд: аттракцион «моя семейная жизнь», балет на льду «моя жизнь с мамой», американские горки «моя жизнь без мамы», музей ужасов «моя сексуальная жизнь» (шепотом, чтобы я не услышала) и, наконец, пещера смерти «моя жизнь в предменопаузе».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Похоть, гордыня, излишество (греч.).

2

Имеется в виду одиннадцатый тезис из работы Маркса «Тезисы о Фейербахе»: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

3

Особняк Лассэ – резиденция президента Национального собрания.

4

Хиро Танигучи – японский художник, автор множества популярных рисованных книжек-манга.

5

Перевод Веры Марковой.

6

Вообще-то так называется во Франции бесплатный тест, с помощью которого телефонная станция проверяет исправность линии.

7

Имеется в виду ирландский художник-экспрессионист Фрэнсис Бэкон (1909–1992).

Купить: <https://tellnovel.me/ru/myuriel-barberi/elegantnost-yozhika-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)